

В последний раз я видела Лилу пять лет назад, зимой 2005-го. Ранним утром мы прогуливались вдоль шоссе и, как это случалось все чаще, испытывали взаимную неловкость. Помню, говорила я одна, а она напевала что-то себе под нос и здоровалась с прохожими, которые ей не отвечали. Если изредка она ко мне и обращалась, то с какими-то странными, невпопад и не к месту, восклицаниями. За минувшие годы произошло немало плохого, даже ужасного, и, чтобы снова сблизиться, нам следовало бы во многом признать друг другу. Но у меня не было сил искать нужные слова, а у нее силы, может, и были, но не было желания – или она не видела в том никакой пользы.

Несмотря ни на что, я очень любила ее и каждый раз, приезжая в Неаполь, старалась с ней повидаться, хотя, по правде говоря, немного боялась этих встреч. Она сильно изменилась. Старость не пощадила нас обеих. Я вела ожесточенную борьбу с лишним весом, а она совсем усохла – кожа да кости. Свои короткие, совершенно седые волосы

она стригла сама – не потому, что ей так нравилось, а потому, что было плевать, как она выглядит. Чертами лица она все больше походила на отца. Она нервно, чуть ли не визгливо, смеялась, говорила слишком громко и непрерывно размахивала руками, будто надвое рубила ими дома, улицу, прохожих и меня.

Мы проходили мимо начальной школы, когда нас обогнал незнакомый парень и на бегу крикнул Лиле, что на клумбе возле церкви нашли труп женщины. Мы поспешили в сторону парка, и Лила, работая локтями, втащила меня в толпу зевак, запрудивших всю улицу. Женщина, невероятно толстая, одетая в старомодный темно-зеленый непромокаемый плащ, лежала на боку. Лила узнала ее сразу, а я нет. Это была подруга нашего детства Джильола Спаньюоло, бывшая жена Микеле Солары.

Я не видела ее несколько десятков лет. От ее прежней красоты не осталось и следа: лицо было одутловатым, ноги распухшими. Волосы, некогда каштановые, а теперь выкрашенные в огненно-красный цвет, такие же длинные, как в детстве, но теперь совсем редкие, рассыпались по рыхлой земле. Одна нога была в поношенной туфле на низком каблуке, вторая – в сером шерстяном носке с дырой на большом пальце. Туфля валялась в метре от тела, как будто, перед тем как упасть, Джильола пыталась ногой оттолкнуть от себя боль или страх. Я заплакала, и Лила смерила меня недовольным взглядом.

Мы сели на скамейку неподалеку и стали молча ждать, когда Джильолу унесут. Что с ней случилось, отчего она умерла – мы не имели об этом понятия. Потом мы пошли к Лиле, в старую тесную квартиру ее родителей, где теперь она жила с сыном Рино. Мы вспоминали умершую подругу, и Лила наговорила о ней всяких гадостей, осуждая ее за тщеславие и подлость. Но на сей раз уже мне не удавалось сосредоточиться на ее словах: перед глазами все еще стояло

мертвое лицо, разметавшиеся по земле длинные волосы, белесые проплешины на затылке. Сколько наших ровесниц уже ушли из жизни, исчезли с лица земли, унесенные болезнями или горем; их души не выдержали, истерлись о несчастья, как о наждачную бумагу. А сколько умерли насильственной смертью! Мы долго сидели на кухне, не решаясь подняться и убрать со стола, но потом снова вышли на улицу.

Под лучами зимнего солнца наш старый квартал выглядел тихим и спокойным. В отличие от нас он совсем не изменился. Все те же старые серые дома, тот же двор, в котором мы когда-то играли, то же шоссе, уходящее в черную пасть туннеля, и то же насилие – все здесь осталось прежним. Зато пейзаж вокруг стало не узнать. Исчезли подернутые зеленоватой ряской пруды, исчезла консервная фабрика. На их месте символом лучезарного будущего, которое вот-вот наступит и в которое на самом деле никто никогда не верил, возвышались стеклянные небоскребы. За этими переменами я наблюдала издали – изредка с любопытством, чаще с безразличием. В детстве мне казалось, что Неаполь за пределами нашего квартала полон чудес. Помню, как много десятков лет назад меня поразило строительство небоскреба на площади возле центрального вокзала, – он постепенно, этаж за этажом, рос у нас на глазах и по сравнению с нашей железнодорожной станцией казался мне громадой. Каждый раз, проходя по piazzetta Garibaldi, я восхищенно ахала и восклицала: «Нет, вы только посмотрите, вот это высота!» – обращаясь к Лиле, Кармен, Паскуале, Аде или Антонио, моим друзьям тех времен, когда мы вместе ходили к морю или прогуливались неподалеку от богатых кварталов. Наверное, там, на самом верху, откуда открывается вид на весь город, живут ангелы, говорила я себе. Как мне хотелось подняться туда, на вершину. Это был наш небоскреб, хоть и стоял он за пределами квартала. Потом стройку заморозили. Позднее, когда я уже училась в Пизе и

возвращалась домой только на каникулы, мне наконец перестал мерещиться в нем символ общественного обновления; я поняла, что это всего лишь очередная убыточная стройка.

В те годы я начала осознавать, что остальной Неаполь не слишком отличается от нашего квартала: повсюду, распознаясь все шире, царила одна и та же бедность. Возвращаясь домой, я каждый раз с удивлением обнаруживала, что еще что-то пришло в упадок: город буквально крошился, будто слепленный из песочного теста, он не выдерживал смены времен года, жары, холода и особенно гроз. То наводнением затопило вокзал на пьяцца Гарибальди, то обрушилась Галерея напротив Археологического музея, то случился оползень и в большинстве районов отключили электричество. В памяти остались полные опасностей темные улицы, все более беспорядочное движение на дорогах, разбитые мостовые, огромные лужи. Канализационные трубы не справлялись с нагрузкой, и на улицы выплескивались потоки воды с нечистотами и мусором, кишащие всеми мыслимыми и немыслимыми паразитами, с холмов, застроенных хлипкими дешевыми многоэтажками, они стекали в море или уходили в почву, размывая нижнюю часть города. Люди умирали от антисанитарии, коррупции и произвола, но продолжали послушно голосовать за политиков, превративших их жизнь в кошмар. Сойдя с поезда, я ловила себя на мысли, что с опаской передвигаюсь по тем местам, где выросла, и стараюсь изъясняться исключительно на диалекте, как бы давая окружающим понять: *«Я своя, не причиняйте мне зла!»*

Когда я закончила учебу и написала повесть, которая неожиданно для меня через несколько месяцев стала книгой, во мне окрепло убеждение, что породивший меня мир катится в пропасть. В Пизе и Милане мне было хорошо, временами я бывала там даже счастлива, зато каждый приезд в родной город оборачивался пыткой. Меня не покидал страх, что случится что-нибудь такое, из-за чего я навсегда

застряну здесь и потеряю все, чего успела добиться. Я боялась, что больше не увижусь с Пьетро, за которого собиралась замуж, что больше никогда не попаду в чудный мир издательства и не встречусь с прекрасной Аделе – моей будущей свекровью, матерью, какой у меня никогда не было. Я и раньше всегда находила Неаполь слишком плотно населенным: от пьяцца Гарибальди до виа Форчелла, Дукеска, Лавинайо и Реттифило постоянно было не протолкнуться. В конце 1960-х улицы, как мне казалось, сделались еще многолюднее, а прохожие – еще грубее и агрессивнее. Однажды утром я решила пройтись до виа Меццоканноне, где когда-то работала продавщицей в книжном магазине. Мне хотелось взглянуть на место, где я вкалывала за гроши, а главное – посмотреть на университет, учиться в котором мне так и не довелось, и сравнить его с пизанской Высшей нормальной школой. Может, думала я, случайно столкнусь с Армандо и Надей – детьми профессора Галиани, – и у меня будет повод похвастаться своими достижениями. Но то, что я увидела в университете, наполнило меня чувством, близким к ужасу. Студенты, толпившиеся во дворе и сновавшие по коридорам, были уроженцами Неаполя, его окрестностей или других южных областей, одни – хорошо одетые, шумные и самоуверенные, другие – неотесанные и забитые. Тесные аудитории, возле деканата – длинная очередь скандалящая. Трое или четверо парней сцепились прямо у меня на глазах, ни с того ни с сего, будто им для драки не нужен был даже повод: просто посмотрели друг на друга – и посыпались взаимные оскорбления и затрепачины; ненависть, доходящая до жажды крови, изливалась из них на диалекте, который даже я понимала не до конца. Я поспешила уйти, словно почувствовала угрозу – и это в месте, которое, по моим представлениям, должно было быть совершенно безопасным, потому что там обитало только добро.

Короче говоря, ситуация ухудшалась с каждым годом. Во время затяжных ливней почву в городе так размывало, что рухнул целый дом – повалился на бок, как человек, опершийся на прогнивший подлокотник кресла. Было много погибших и раненых. Казалось, город вынашивал в своих недрах злобу, которая никак не могла вырваться наружу и разъедала его изнутри или вспучивалась на поверхности ядовитыми фурункулами, отравляя детей, взрослых, стариков, жителей соседних городов, американцев с базы НАТО, туристов всех национальностей и самих неаполитанцев. Как можно было уцелеть здесь, посреди опасностей и беспорядков – на окраине или в центре, на холмах или у подножия Везувия? Сан-Джованни-а-Тедуччо и дорога туда произвели на меня страшное впечатление. Мне стало жутко от зрелища завода, где работала Лиля, да и от самой Лилы, новой Лилы, которая жила в нищете с маленьким ребенком и делила кров с Энцо, хотя и не спала с ним. Она рассказала мне тогда, что Энцо интересуется компьютерами и изучает их, а она ему помогает. В памяти сохранился ее голос, силившийся перекричать и перечеркнуть собой Сан-Джованни, колбасы, заводскую вонь, условия, в которых она жила и работала. С наигранной небрежностью, словно между делом, она упоминала государственный кибернетический центр в Милане, говорила о том, что в Советском Союзе уже используют ЭВМ для исследований в общественных науках, и уверяла, что скоро то же самое будет и в Неаполе. «В Милане – пожалуй, – думала я, – а уж в Советском Союзе и подавно, но здесь никаких центров точно не будет. Это все твои сумасшедшие выдумки, ты вечно носилась с чем-нибудь таким, а теперь еще втягиваешь в это несчастного влюбленного Энцо. Тебе надо не фантазировать, а бежать отсюда. Навсегда, подальше от этой жизни, которой мы жили с детства. Осеть в каком-нибудь приличном месте, где

и вправду возможна нормальная жизнь». Я верила в это, потому и сбежала. К сожалению, десятилетия спустя мне пришлось признать, что я ошибалась: бежать было некуда. Все это были звенья одной цепи, различавшиеся разве что размерами: наш квартал – наш город – Италия – Европа – наша планета. Теперь-то я понимаю, что болен был не наш квартал и не Неаполь, а весь земной шар, вся Вселенная, все вселенные, сколько ни есть их на свете. И сделать тут ничего нельзя, разве что только упрятать голову поглубже в песок.

Все это я высказала Лиле тем зимним вечером 2005 года. Моя речь звучала пафосно, но в то же время виновато. До меня наконец дошло то, что она поняла еще в детстве, не покидая Неаполя. Следовало ей в этом сознаться, но мне было стыдно: не хотелось выглядеть перед ней озлобленной ворчливой старухой – я знала, что она не выносит нытиков. Она кривовато усмехнулась, показав стесанные с годами зубы, и сказала:

– Ладно, хватит о пустяках. Что ты задумала? Собралась писать о нас? Обо мне?

– Нет.

– Не ври.

– Если б и захотела, это слишком сложно.

– Но ты об этом думала. Да и сейчас думаешь.

– Бывает.

– Брось эту затею, Лену́. Оставь меня в покое. Всех нас оставь. Мы должны бесследно исчезнуть, ничего другого мы не заслуживаем: ни Джильола, ни я, никто.

– Неправда.

Она недовольно скривилась, впилась в меня взглядом и сквозь зубы процедила:

– Ну ладно, раз тебе неважно, пиши. О Джильоле можешь писать что хочешь. А обо мне не смей! Дай слово, что не будешь!

– Я ни о ком ничего писать не собираюсь. В том числе о тебе.

– Смотри, я проверю.

– Да ну?

– Запросто! Взломаю твой компьютер, найду файл, прочитаю и сотру.

– Да ладно тебе.

– Думаешь, не сумею?

– Сумеешь, сумеешь. Не сомневаюсь. Но и я умею защищаться.

– Только не от меня, – зловеще, как раньше, рассмеялась она.

2

Я никогда не забуду эти слова – последние, которые я слышала от нее. *«Только не от меня»*. Вот уже несколько недель я самозабвенно пишу, не отвлекаясь на то, чтобы перечитать написанное. «Если Лила жива, – мечтательно думаю я, попивая кофе и глядя, как волны реки По разбиваются об опоры моста Принцессы Изабеллы, – она точно не сдержится. Эта старая психопатка взлезет в мой компьютер, прочтет текст, разозлится, что я ее не послушала, начнет его исправлять и дописывать и больше не вспомнит о том, что хотела исчезнуть». Ополаскиваю чашку, возвращаюсь за стол и пишу дальше – про ту холодную миланскую весну, про тот день в книжном магазине больше чем сорокалетней давности, когда мужчина в очках с толстыми стеклами при всех распекал меня и мою книгу, а я, дрожа и смущаясь, пыталась хоть что-то пролепетать в свое оправдание. А потом внезапно поднялся заросший растрепанной черной бородой Нино Сарраторе, которого я не сразу узнала, и, не стесняясь в выражениях, поставил моего обидчика на место. Как долго

я не видела его: года четыре, может, пять? Помню, я похолодела от волнения, но мне казалось, я вся горю.

Как только Нино договорил, мужчина сдержанным жестом попросил ответного слова. Ясно было, что он обиделся, но я была слишком взволнована, чтобы догадаться, что именно его оскорбило. Разумеется, я понимала, что выступление Нино – резкое, на грани грубости – увело спор из литературной области в политику. И все же в тот момент я не придавала этому особого значения: я корила себя за то, что не смогла сдержать удар и выставила себя перед ученой публикой полной бестолочью. Вообще-то я умела за себя постоять! Когда-то в лицее, чтобы быть не хуже других, я подражала профессору Галиани, заимствовала ее интонацию и выражения. В Пизе, чтобы выстоять против враждебно настроенных сокурсников, этого багажа оказалось недостаточно. Франко, Пьетро и другие блестящие студенты изъяснялись цветисто, писали с нарочитой сложностью, а в споре щеголяли безупречно выстроенной аргументацией – ничем подобным Галиани никогда не занималась. Но и там я научилась вести себя, как все. У меня получалось, и я поверила, что наконец овладела словом до такой степени, чтобы в любых обстоятельствах не поддаваться эмоциям, сохранять самообладание и здравомыслие. При помощи изящных, взвешенных и пространных рассуждений я завораживала слушателей, отбивая у них всякое желание мне возражать. Но в тот вечер все пошло не так. Сначала Аделе и ее друзья с их хвalebными речами, потом этот мужчина в очках с толстыми стеклами... Я разнервничалась, снова почувствовала себя девчонкой-зубрилой с южным диалектом, выскочкой из нищего квартала, дочерью швейцара, непостижимым образом попавшей в культурное общество и возомнившей себя молодым дарованием. Вся моя вера в себя испарилась, а с ней и все мое красноречие. А тут еще Нино! С его появлением я окончательно потеряла контроль над

собой и, пока слушала его прекрасное выступление в мою защиту, забыла и то, что умела. Выходцы из одной среды, мы оба много трудились, чтобы научиться складно говорить. Нино виртуозно владел литературным итальянским, с легкостью обращая его против своего оппонента, но, когда считал нужным, намеренно отказывался от изысканных оборотов и позволял себе игривую небрежность, на фоне которой профессорская речь мужчины в очках с толстыми стеклами казалась старомодной и оттого нелепой. Я увидела, что мужчина собирается ответить, и очень испугалась: если он и раньше ругал мою книгу, что же он скажет теперь, когда его разозлили?!

Вопреки всем опасениям, мой обидчик забыл про повесть и заговорил совсем о другом. Он прицепился к некоторым выражениям, которые Нино употреблял как бы невзначай, но повторял их снова и снова: «высокомерие аристократов», «антиавторитарная литература». Я поняла, что нашего оппонента задела именно политическая сторона спора. Ему не нравились эти слова, и, воспроизводя их, он с глубокого баса неожиданно срывался на саркастический фальцет (*«значит, гордость за свои знания сегодня называется высокомерием аристократа, а литература с каких-то пор превратилась в антиавторитарную?»*). Он попытался обыграть термин «авторитаризм»: «Нужно благодарить Бога, – сказал он, – за эту преграду, за стену, защищающую нас от дурно воспитанной молодежи, болтающей невесть что и повторяющей глупости, исходящие от врагов государства». Он долго говорил на эту тему, обращаясь исключительно к публике, а не к Нино и не ко мне. В конце речи он посмотрел сначала на пожилого критика, сидевшего рядом со мной, а потом на Аделе – возможно, его единственного в тот вечер подлинного адресата. «Я ничего не имею против молодежи, – заключил он, – я против взрослых ученых, которые в своих интересах готовы поддержать любую модную

глупость». На этом он наконец умолк и начал пробираться к выходу, негромко, но четко выговаривая: «Извините», «Позвольте», «Благодарю».

Зрители вставали с мест, чтобы дать ему пройти, глядя на него недовольно, но в то же время почтительно. Только тогда мне стало ясно, что это был влиятельный человек, настолько влиятельный, что даже Аделе на его хмурое прощание вежливо ответила: «Спасибо, до свидания!» Каково же было всеобщее изумление, когда Нино с вызывающей издевкой в голосе окликнул его, назвав «профессором» и тем самым показав, что знает, с кем имеет дело: «Эй, профессор, куда же вы? Не убегайте!» Он резво кинулся ему наперерез на своих длинных ногах, встал лицом к лицу и произнес несколько слов, которые я со своего места плохо расслышала и не совсем поняла, но которые, должно быть, жгли, как стальной прут под палящим солнцем. Мужчина выслушал Нино с каменным лицом, после чего жестом попросил его уйти с дороги и направился к выходу.

3

Я поднялась с места, не понимая, что происходит: мне не верилось, что Нино действительно здесь, в Милане, в этом зале. А между тем он не торопясь, с улыбкой на лице, шел в мою сторону. Мы пожали друг другу руки: его была горячей-горячей, моя – ледяной; обменялись дежурными фразами о том, как рады видеть друг друга после стольких лет. Тут до меня стало доходить, что самая страшная часть вечера позади, и настроение у меня немного поднялось, хотя волнение не совсем улеглось. Я познакомила Нино с критиком, который великодушно похвалил мою книгу, представив его как старого друга, с которым училась в лицее в Неаполе. Несмотря на то что и ему досталось от Нино, тот